

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## “ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

### Глава 12. Перед пожаром

1916 год ознаменовался для Клюева и Есенина двумя сущностными событиями. В феврале месяце в издательстве М. В. Аверьянова вышла есенинская “Радуница” (его первая книжка), а чуть раньше, в конце января – клюевский сборник “Мирские думы”, состоящий из двух разделов: сами “Мирские думы”, включающие и “Поминный причет”, и “Слёзный плат”, и “Беседный наигрыш, стих доброписный” – и “Песни из Заонежья”, составленный из клюевских вариаций на мотивы северного фольклора, завершаемый “Скрытым стихом”. Книга получила восторженные отзывы критики.

“... За четыре года поэт прошёл большой путь, и трудно узнать в Клюеве “Мирских дум” Клюева “Сосен перезвона”. Чужой символизм стихов, посвящённых Александру Блоку, – “... уступил место крепким образам, уже несомненно принадлежащим или Клюеву, или тому, чем жив Клюев теперешний...” Так писал о “Мирских думах” Натан Венгров – как будто от недочитанного и плохо понятого “Сосен перезвона” (где не было никакого “чужого символизма” – уж нечто подобное заметил бы чрезвычайно внимательный к подобным “заимствованиям” Гумилёв) – перешёл сразу к последней книге, минуя те же “Лесные были”. С концептуальной статьёй “Земля и железо” выступил Иванов-Разумник: “Со старонародным словом, со старонародной мирской думой приходит в город Клюев; сила его в земле и в народе... На Русь деревенскую, лесную, полевую... поднялось войной железо: вот глубина мысли народной... Конечная победа – за силой любви, за силой духа, а не за силой железа, в чьих бы руках оно ни было...” Но настоящий гимн “Мирским думам” спела Зоя Бухарова в приложении к “Ниве”: “... Мы так долго жили в недостойном рабстве у Запада, что совсем ещё недавно всё национальное должно было великим трудом пробивать себе дорогу... На благодатную, подготовленную почву пало в настоящие дни творчество Николая Клюева – самого талантливого, мудрого и цельного из... поэтов-крестьян, стоящих совершенно в стороне от всех столь противоречивых литературных течений последнего времени. “Мирские думы” обвеяны духом чрезвычайной значительности, духом исключительного, сосредоточенного единства...”

10 февраля 1916 года Есенин и Клюев в литературном кружке слушательниц Императорского женского педагогического института познакомились с профессором Павлом Никитичем Сакулиным, известным учёным-филологом. Впечатление от бесед с поэтами и чтения их книг позже воплотилось в сакулинской статье “Народный златоцвет”, напечатанной в журнале “Вестник Ев-

\* Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год.

ропы” в мае месяце. Статья, во многом расставляющая основополагающие акценты в разговоре как о народной поэзии, так и о поэзии Сергея Есенина и Николая Клюева.

Но для начала стоит обратиться к статье “Умирающая русская песня”, напечатанной в журнале “Москва” в сентябре 1913 года.

“Народная песня — это живая художественная летопись народной жизни. Только в ней и сказывались таившиеся в народе творческие возможности, творческие силы. . . И вот теперь эта народная песня, эта художественная исповедь народа умирает с каждым днём, с каждым часом. Вместе с отхожими промыслами, с железными дорогами, с фабриками и заводами, угрюмые трубы которых высятся теперь и среди полей, вместе с каменными городами — в глухие деревенские углы, в крестьянские низы пробирается развязная, цинично-развратная пьяная фабричная частушка. Крикливая, пришла она и воцарилась на деревенской улице, на крестьянских свадьбах, на очаровательных, полных непосредственного увлечения “посиделках” (беседах) молодёжи, и утвердилась во всех значительных моментах деревенской жизни, в обрядностях, для которых народная фантазия сложила свои особые, обвеянные глубоким поэтическим вдохновением песни.

Чтобы понять, какая красота уходит из жизни, нужно попасть в далёкие медвежьи углы, сохранившие ещё свой неприкосновенный облик, и здесь слушать народных певцов, число которых с каждым годом всё уменьшается. Деревня начинает забывать свои прекрасные песни”.

Трудно не заметить, что отдельные места этой статьи текстуально совпадают со строками будущего есенинского трактата “Ключи Марии”: “Обогащение сил природы, выписанное лицо ветра именем Стрибога или Борея в мифологиях земного шара есть не что иное, как творческая ориентация наших предков в царстве космических тайн. Это тот же образ, который родит алфавит непрочитанной грамоты. Мысль ставит чему-нибудь непонятому ей рыбачью сеть, уловляет его и облакает в краску имени. . . Если таким образом мы могли бы разоблачить всю творческо-мыслительную значность, то. . . мы увидели бы, как лежит бревно на бревне образа, увидели бы, как сочетаются звуки, постигли бы тайну гласных и согласных, в спайке которых скрыта печаль земли по браку с небом. Нам открылась бы тайна, самая многозначная и тончайшая тайна той хижины, в которой крестьянин так нежно и любовно вычерчивает примитивными линиями явления пространства. Мы полюбили бы мир этой хижины со всеми петухами на ставнях, коньками на крышах и голубками на князьках крыльца не простой любовью глаза и чувственным восприятием красивого, а полюбили бы и познали бы самую правдивую тропинкой мудрости, на которой каждый шаг словесного образа делается так же, как узловая завязь самой природы. . . Единственным расточительным и неряшливым, но всё же хранителем этой тайны была пролуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня. Мы не будем скрывать, что этот мир крестьянской жизни, который мы посещаем разумом сердца через образы, наши глаза застали, увы, вместе с расцветом на одре смерти. . .”

Трудно отделаться от мысли, что текст “Ключей Марии” начал складываться уже в 1916 году под впечатлением бесед с Клюевым, который также говорил о гибели старой русской песни и терпеть не мог частушку, под впечатлением его “Избятных песен”, которые более всего любил Есенин в клюевской поэзии, — и в своеобразном отталкивании от статьи Сакулина, возражавшего против подобного “пессимизма”:

“Когда заходит речь о современном состоянии народно-поэтического творчества, образованный человек обыкновенно делает многозначительно-грустную мину и принимается толковать об упадке народной песни, как о бесспорном факте. А в качестве доказательства он без труда вспомнит какую-нибудь частушку. . . Но позволительно спросить, был ли в жизни русского народа такой период, когда бы его устная поэзия не “разлагалась”? Конечно, нет. Народная поэзия всегда находилась в непрерывном процессе развития и “разложения”. . . Отсутствие “разложения” обозначало бы смерть народно-поэтического творчества, его окостенение. Возврат к старому немислим да и не нужен. . .”

Поэтическое творчество русского народа не замерло: оно приняло лишь новые формы. Предаваться печальным lamentациям решительно нет никакого основания. Замечательно, что те, кому удаётся глубже заглянуть в творче-

скую душу народа, возвращаются из деревни не с хмурыми лицами, а с запасами самых бодрых впечатлений... О. Э. Озаровская не иначе выражается о своём посещении Севера, как о поездке “за жемчугом”... Ошибочность ходячих представлений об “упадке” народной поэзии объясняется, во-первых, давней привычкой судить о народе как бы огульно, а во-вторых, недостаточной осведомлённостью. По ложной традиции “народ” мыслится как слитая воедино масса. Этого никогда не было, нет и теперь... Традиционная поэзия не является в руках народа мёртвым капиталом, а находится в состоянии непрерывной переработки, и народная память хранит лишь то, что теперь продолжает говорить его сердцу и уму...

Во всех отмеченных стадиях и формах так наз. народной поэзии мы видим продукты творчества отдельных личностей, усвоенные массой и устно распространяемые.

Имена этих поэтов из народа остаются по большей части неизвестными. Но всегда были, есть и теперь поэты, имена которых спасены от забвения. Степень их самобытности, так сказать, “народности”, до бесконечности разнообразна. Некоторые совершенно утратили своё “народное” лицо, слились с общей массой литераторов. Таких, окультуренных, писателей в современной печати действует очень много. Рядом с ними найдутся, однако, и такие, которые, свободно, развернув свою поэтическую индивидуальность, не порвали с народной почвой, творя в народном стиле и часто для народа”.

К последним Сакулин отнёс и Клюева, и Есенина.

В своём протесте против “ходячих представлений об “упадке” народной поэзии” Сакулин был отчасти прав, но не меньшая правда была и на стороне поэтов, отчётливо представлявших себе процесс “разложения” старонародного творчества. Клюев знал, что говорил, произнося уже после революции речь в Вытегорском красноармейском клубе “Свобода”: “Триста годов назад, когда мужику ещё было где ухорониться от царских воевод да от помещиков, народ понимал искусство больше, чем в нынешнее время. Но приказная плеть, кабак государев, проклятая сигарка вытравили, выжгли из народной души чувство красоты, прощёную слёзку, сладкую тягу в страну индийскую... А тут ещё немец за русское золото тальянку заместо гуслей подсунул — и умерла тиха-смирна беседашка, стих духмяный, малиновый. За ним погасли и краски, и строительство народное. Народился богатей-жулик, мазурик-трактирщик, буржуй треокаянный. Сблазнили они мужика немецким спинджаком, галошами да фуранькой с лакировкой, заманили в города, закабалили обманом по фабрикам да заводам; ведомо же, что в 16-тичасовой упряжке не до красоты, не до думы потайной. И взревел досюльный баян по-звериному:

*Шёл я верхом, шёл я низом, —  
У милашки дом с карнизом,  
Не садись, милой, напротив —  
Меня наблевать воротит”.*

Но в отношении “ложной традиции”, по которой “народ мыслится как слитая воедино масса”, Сакулин был прав “на все сто”. Подтверждением тому служит хотя бы письмо Владислава Ходасевича Александру Ширяевцу, которое и поныне служит блестящей иллюстрацией того отношения к народной поэзии, против которого и была направлена статья “Народный златоцвет”.

В декабре 1916 года Ширяевец послал Ходасевичу свою книгу “Запевка” с просьбой высказать своё мнение. Ходасевич и высказал:

“Мне не совсем по душе весь основной лад Ваших стихов, — как и стихов Клычкова, Есенина, Клюева: стихи “писателей из народа”. Подлинные народные песни замечательны своей непосредственностью. Они обаятельны в устах самого народа, в точных записях. Но, подвергнутые литературной, книжной обработке, как у Вас, у Клюева и т. д., — утрачивают они своё главное достоинство — примитивизм. Не обижайтесь — но ведь всё-таки это уже “стилизация”. И в Ваших стихах, и у других, упомянутых мной поэтов, — песня народная как-то подчищена, вылощена. Всё в ней новенькое, с иголочки, всё пестро и цветисто, как на картинках Билибина. Это — те “шёлковые лапотки”, в которых ходил кто-то из былинных героев, — Чурило Пленкович, кажется. А народ не в шёлковых ходит, это Вы знаете лучше меня.

Народная песня в народе родится и в книгу попадает не через автора. А человеку, уже вышедшему из народа, не сложить её. Писатель из народа —

человек, из народа ушедший, а писателем ещё не ставший. Думаю – для него два пути: один – обратно в народ, без всяких поползновений к писательству; другой – в писатели просто. Третьего пути нет... Да по правде сказать – и народа-то такого, каков он у Вас в стихах, скоро не будет... У России, у русского народа такое прекрасное будущее, что ему (будущему) служить да служить. А старое – Бог с ним... И тот, кто вздумал бы с Вашего места вернуться в народ, – тому пришлось бы только допевать последние старые песни, которые самому народу скоро сделаются непонятны... Хоровод – хорошее дело, только бойтесь, как бы не пришлось Вам водить его не с “красными девками”, а сам-друг с Клюевым, пока Городецкий барин снимает с Вас фотографии для помещения в журнале “Лукоморье” с подписью: “Русские пейзажи на лоне природы”.

Через несколько лет Сергей Есенин в разговоре с Юрием Либединым по-своему как бы заочно ответил на подобные рассуждения.

– ... Вот ещё глупость: говорят о народном творчестве, как о чём-то великом. Народ создал, народ сотворил... Но безликого творчества не может быть. Те чудесные песни, которые мы поём, сочиняли талантливые, но безграмотные люди. А народ только сохранил их песни в своей памяти, иногда даже искажая и видоизменяя отдельные строфы. Был бы я неграмотный – и от меня сохранилось бы только несколько песен.

И напрасно Ходасевич не пожелал вспомнить ни “Тонкую рябину” В. Сурикова, ни “Песню разбойника” А. Вельмана, ни “Среди долины ровныя” А. Мерзлякова, ни “Дубинушку” А. Ольхина, ни “То не ветер ветку клонит...” С. Стромиллова, ни своих любимых “Коробейников” Н. Некрасова (маленький отрывок из большой поэмы стал воистину *народной* песней)... Интересно, кстати, вспомнил ли Владислав Фелицианович, когда писал уже за границей мемуар о Есенине, где вспомнил и свою переписку с Ширяевцем, строки о “прекрасном будущем русского народа” – к каковому “будущему” он не пожелал вернуться из-за рубежа?..

Ширяевец, почуяв еле скрытый снобизм адресата, узрев холодный взгляд с прищуром чуть ли не через лорнет, ответил своему корреспонденту зло, иронично, с явным нежеланием вдаваться в полемику по существу. Видел – бесполезно. Тем паче что явно ощутил пожелание Ходасевича – “слиться с общей массой литераторов” (о чём писал Сакулин). Ответил – в тон и в такт, дескать, не обижайтесь на “убогонького”...

“Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет?... И что прекраснее: прежний Чурила в шёлковых лапотках с припевками да присказками, или нынешнего дня Чурила, в американских щиблетах, с Карлом Марксом или “Летописью” в руках, захлёбывающийся от открывающихся там истин?... Ей-богу, прежний мне милее!... Знаю, что там, где были русалочки омуты, скоро поставят купальни для лиц обоего пола, со всеми удобствами, но мне всё же милее омуты, а не купальни... Ведь не так-то легко расстаться с тем, чем жили мы несколько веков! Да и как не уйти в старину от теперешней неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых торжественно “лозунгами”... Пусть уж о прелестях современности поёт Брюсов, а я пошщу Жар-Птицу, пойду к тургеневским усадьбам, несмотря на то, что в этих самых усадьбах предков моих били смертным боем... (Вот с этой мыслью, даже высказанной в ироническом ключе, ни при какой погоде не мог солидаризироваться Клюев, прекрасно знавший о заочном диалоге Ширяевца и Ходасевича. Не отсюда ли и позднейшее пореволюционное клюевское “пусть на поле Тургенев грустит об усадьбе, исходя потихоньку бумажной слезой”? – С. К.) Придёт предприимчивый человек и построит (уничтожив мельницу) какой-нибудь “Гранд-Отель”, а потом тут вырастет город с фабричными трубами... И сейчас уж у лазоревого плёса сидит стриженная курсистка или с Вейнигером в руках, или с “Ключами счастья”. Извините, что отвлекаюсь, Владислав Фелицианович. Может быть, чушь несу я страшную, это всё потому, что не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку, а без сказки какое житьё на свете? Очень ценны мысли Ваши, и согласен я с ними, но пока потопчусь на старом месте, около мельниковой дочки, а не стриженной курсистки... О современном, о будущем, пусть поют более сильные голоса, мой слаб для этого...”

И уж совершенно в особом свете воспринимал Ширяевец строки про “барина Городецкого”, уже зная от Клюева все хождения этого “барина” и про-

читав письмо самого Городецкого с жалобой на то, что Есенин и Клюев его “предали”, а также получив клюевские “Мирские думы” с надписью, только укрепившей Александра в правильности избранного пути: “Русскому песельнику Александру Ширяевцу — моему братику сахарноустому с благословением и молитвой о даровании ему разумения всерусского слова не как забавы, а как подвига и жизни бесконечной. Николай Клюев, январь 1917 г.”

О Ходасевиче же у Клюева через несколько лет нашлись совершенно иные слова, записанные Николаем Архиповым:

“Сердце словно вдруг откуда-то...” — вот строчка, которой устыдился бы и Демьян Бедный! А она пышно напечатана в “Тяжёлой лире” Владислава Ходасевича... Проходу не стало от Ходасевичей, от их фырканы и просвещённой критики на такую туземную и некультурную поэзию, как моя “Мать-Суббота”. Бумажным дятлам не клевать моей пшеницы. Их носы приспособлены для того, чтобы тукать по мёртвому сухоостю так называемой культурной поэзии. Личинки и черви им пища и клад. Пусть торжествуют!”

“Ходасевич это мёртвая кость, да и то не с поля Иезекиилева, а просто заваливающая”.

\* \* \*

Есенинская “Радуница” сразу стала объектом пристального внимания критиков, которые наперебой сравнивали молодого поэта с Клюевым. Наиболее отчётливо эту параллель выстроил тот же Сакулин:

“Как и у Клюева... “любовь к отечеству” слита у Есенина с “плакучей думой” о родине, об этой “горевой полосе”. И он, юный, рвётся к небесному, к вечному... В сердце юноши-поэта “почивают тишина и мощи”, и язык его становится похож на язык Клюева... Клюев и Есенин — тоже “народ”, как и те, кто поёт залихватские частушки... “Народ” есть нечто многосоставное и сложное; он, если угодно, действительно сфинкс...”

Клюев и Есенин нашли заветный клад из самоцветных камней. Благоговейной рукой они выкладывают из них художественно-мозаичные образы. А иногда беззаботно подбрасывают на ладони, любуются их ярким блеском и сочетанием красок...”

У Зои Бухаровой акцент был сделан на разнице “подхода к темам, манере и формы трактовки”. А как общее — было обозначено “кроме их постоянно-совместного публичного выступления, только одно: народность”.

Для самого же Клюева разница состояла не в “манере” и не в “форме”, а в другом — самом существовании.

“Теперь я в Петрограде живу лишь для Серёженьки Есенина, — писал он Ширяевцу в начале 1917 года, — он единственное моё утешение, а так всё сволочь кругом. Читал ли ты “Радуницу” Есенина. Это чистейшая из книг, и сам Серёжа воистину поэт — брат гениям и бессмертным. Я уже давно сложил к его ногам все свои дары и душу с телом своим. Как сладостно быть рабом прекраснейшего! Серёженька пишет про тебя статью. Я бы написал, но не умею. Вообще с появлением Серёженьки всё меньше и меньше возвращаюсь к стихам, потому что всё, что бы ни писалось, жалко и уродливо перед его сияющей поэзией. Через год-два от меня не останется и воспоминания...”

Кажется, что Клюев утрирует. На самом деле он видел в есенинской “Радунице” ту естественную чистоту, лёгкость и гармонию рисунка, непринуждённо соединяющего человеческое с божественным, что покидала его собственные стихи, отягощённые тревожными видениями, приходящими из миров, страшных для человеческого существа. Его всё чаще и чаще посещали видения, неподъёмные для души, слово, призванное для их воплощения, становилось всё более тяжким и насыщенным гнетущей энергией преодоления, и кажется, что в “Поддонном псалме”, который поначалу носил название “Новый псалом”, эта поддонная сила вторгается в мир клюевской Руси из-за посмертных пределов, угрожая не только ушедшим за земную черту, но и живым.

Его всё чаще навещала умершая мать, и он вспоминал, как она явилась к нему во сне после похорон и “показала весь путь, какой человек проходит с минуты смерти в вечный мир... Что-то слабо похожее на пережитое в этих снах брезжит в моём “Поддонном псалме”, в его некоторых строчках”.

Есть моря черноводнее вара,  
 Липче смол и трескового клея  
 И недвижимей столпы Саваофа:  
 От земли, словно искра из горна,  
 Как с болот цвет тресты пуховойной,  
 Возлетает душевное тело,  
 Чтоб низринуться в чёрные воды —  
 В те моря без течения и ряби;  
 Бьётся тело воздушное в черни,  
 Словно в ивовой верше лосося;  
 По борьбе же и смертном биенье  
 От души лоскутами спадает.  
 Дух же — светлую рыбку чешуйку,  
 Паутинку луча золотого —  
 Держит вар безмаячного моря:  
 Под пятой невесомой не гнётся  
 И блуждает он, сушей болея...  
 Но едва материк долгожданный,  
 Как слеза за ресницей, забрезжит,  
 Дух становится сохлым скелетом,  
 Хрупче мела, трухлявее трута,  
 С серым коршуном-страхом в глазницах,  
 Смерть вторую нежданно вкушая.

Стоит ли удивляться, что душа, отягощённая этими видениями, и  
 впрямь — “чудище поддонное, стоглавое, многохвостое, тысячепудовое” —  
 напоминает древнего Левиафана, и спасение её лишь в светлом видении,  
 что является во исполнение веления: “Прозри и виждь: свет брезжит! Рас-  
 крылась лилия, что шире неба, и колесница Зари Прощения гремит по кам-  
 ням небесным!” Письменное слово наполняется вселенской тяжестью, изне-  
 могая под ней: “Нет слова неприточного, по звуку неложного, непорочного;  
 тяжёлы душе писания видимые, и железо живёт в буквах библий!” Изгнание  
 железа — духовное прочтение символа каждой буквы славянской азбуки:  
 “Аз Бог Ведаю Глагол Добра — пять знаков чище серебра; за ними вслед:  
 Есть Жизнь Земли — три буквы с золотом корабля, и напоследок знак Фита —  
 змея без жала и хвоста...” Познание таинства родимой речи органично со-  
 четается с познанием таинства родимой жизни, где зыбка младенчества — ук-  
 репа от земного зла и внезапных кошмаров, где сама Русь — не “жена, оде-  
 тая в солнце” (этот бестелесный символ ничему противостоять не может, на-  
 против — подвержен всем мыслимым соблазнам), а “баба-хозяйка, домови-  
 тая и яснозубая”, которой, как и самому поэту — “только тридцать три года —  
 возраст Христов лебединый” (Клюев здесь первые обозначает свой точный  
 возраст, тогда как везде и всюду для посторонних глаз шифровал его, дабы  
 нельзя было по нумерологии “чужим людям” предсказать его судьбу или уз-  
 нать его слабости)... Русь — как оплот светлой силы в противостоянии с си-  
 лой чёрной.

Ель Покоя жильё осеняет,  
 А в ветвях её Сирия гнездится:  
 Учит тайнам глубинным хозяйку, —  
 Как взвесить нежных красок опару,  
 Дрожжи звуков всевышних не сквасить,  
 Чтобы выпечь животные хлебы,  
 Пищу жизни, вселенское брашно...

Он сам, побывавший “под чудною елью” и отведавший “животного хле-  
 ба”, знает, что спасение и победа над смертью лишь в одном:

Приложитесь ко мне, братья,  
 К язвам рук моих и ног:  
 Боль духовного зачатья  
 Рождеством я перемог!

Это уже не имеет никакого отношения к хлыстовству. В православной церковной традиции “прилагаться” означает “присоединяться”. Именно в таком смысле толкуют отцы церкви слова Иакова перед смертью: “. . . аз прилагаюся к людем моим. . .” И у блаженного Феодорита: “Приложися к народу своему заключает надежду воскресения”. . . Воскресения вселенского, воскресения ушедших, прошедших “моря черноводнее вара”, воскресения духовной сокровищницы Руси, что незримо сохранялась Божественной волей за века отпадения. Всё оживает в роковой час всемирного противостояния злу и железу.

*Снова голубь Иорданский  
Над землёю воспарил:  
В зыбке липовой крестьянской  
Сын спасенья опочил.*

.....  
*Пир мужицкий свят и мирен  
В хлебном Спасовом раю,  
Запоёт на ели Сирий:  
Баю-баюшки-баю.*

*От звезды до малой рыбки  
Всё возжаждет ярых крыл,  
И на скрип вселенской зыбки  
Выйдут деды из могил.*

*Станет радуга лампадой,  
Море — складнем золотым,  
Горн потухнувшего ада —  
Полям оранным мирским.*

Ключевой образ в “Поддонном псалме” — образ животного хлеба, отсылающий к притче Иисуса Христа о закваске: “Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё”. И к толкованию этой притчи апостолом Павлом: “Разве вы не знаете, что малая закваска квасит всё тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. . . станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. . .”

“Новое тесто” узрел Клюев в есенинской “Радуннице”, в центральной вещи книги — маленькой поэме “Микола”, герой которой послан Богом на землю, дабы защитить “скорбью вытерзанный люд”, — и пришедший Микола, “где зовут его в беде”, обращается к позвавшим его: “Я пришёл к вам, братья, с миром — исцелить печаль забот. . . Собирайте милость Божью спелой рожью в закрома. . .” Сам Есенин становится в восприятии Клюева сродни Миколе, “приложившимся”, соединившимся со своим духовным братом, познавшим и свет Фавора, и воздействие адских сил, дабы изменить своим словом духовный мир Руси, изнемогающей в бесконечной брани.

*Земля, как старище-рыбак,  
Сплетаёт облачные сети,  
Чтоб уловить загробный мрак  
Глухонемых тысячелетий.*

*Провижу я: как в вёрше сом,  
Заплещет мгла в мужицкой длани, —  
Золотобрёвный, Отчий дом  
Засолнцевет на поляне.*

*Пшеничный колос-исполн  
Двор осенит целящей тенью...  
Не ты ль, мой брат, жених и сын,  
Укажешь путь к преображенью?*

.....  
*Изба — питательница слов  
Тебя взрастила не напрасно:  
Для русских сёл и городов  
Ты станешь Радунницей красной.*

*Так не забудь запечный рай,  
Где хорошо любить и плакать!  
Тебе на путь, на вечный май,  
Слетаю стих — матёрый лапоть.*

Последняя строфа особо значила для Клюева — слишком многое он возлагал на своего “брата, жениха и сына”, представляя себя и собрата, как единое целое, чья связь скреплена ещё и воздействием сил враждебного мира. . . И здесь нельзя не вспомнить заключительные строки Зои Бухаровой из статьи, посвящённой Есенину: “У Сергея Есенина есть, несомненно, будущее. Но он должен твёрдо держаться принятого пути, не увлекаться опасными модными течениями, погубившими уже столько свежих дарований. Мы давно так мучительно ждали голоса родной земли, родной деревни. Тяжёлые настоящие времена, сквозь свои слёзы и кровь, словно в утешение дарят нам гордость и радость таких подлинно национальных талантов, как мудрый, глубокий “сказитель” Клюев и нежный, ласково-чарующий крестьянский лирик Сергей Есенин. Приветствуя их книги, мы согреваемся душою и верим в самые светлые достижения непочатых, неиссякаемых сил нашего народа”.

\* \* \*

В течение всего 1916 года Клюев с Есениным были практически неразлучны, исключая то время, когда Есенин, призванный на военную службу, выезжал с санитарным поездом к линии фронта. В конце марта — начале апреля Клюев обратился с письмом к полковнику Д. Ломану:

“Полковнику Ломану  
О песенном брате Сергее Есенине моление.

Прекраснейший из сынов крещёного царства мой светлый братик Сергей Есенин взят в санитарное войско с причислением к поезду № 143 имени е. и. в. к. Марии Павловны.

В настоящее время ему, Есенину, грозит отправка на бранное поле к передовым окопам. Ближайшее начальство советует Есенину хлопотать о том, чтобы его немедленно потребовали в вышеозначенный поезд. Иначе отправка к окопам неустраима. Умоляю тебя, милостивый, ради родимой песни и червонного всерусского слова похлопотать о вызове Есенина в поезд — вскорости.

В желании тебе здравия душевного и телесного остаюсь о песенном брате молещик

Николай, сын Алексеев, Клюев”.

Сам Клюев готов был пойти вместе с Есениным санитаром, но ему, как белобилетнику, было отказано. Есенин же был назначен санитаром в царско-сельский военно-санитарный поезд № 143 Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны. Служил в Царском Селе, к линии фронта выезжал дважды в течение года — и со своим неотступным спутником продолжал посещать литературные вечера и принимать участие в публичных выступлениях.

В “Обществе свободной эстетики” Клюев читал “Беседный наигрыш”, а Есенин — “Песнь о Евпатии Коловрате”. “Школа сценического искусства” В. Сладкопевцева (того самого, который обозвал Есенина “футуристом”) смеяется Пенатами, где поэты гостят у И. Е. Репина. Оба сидят в зрительном



зале курсов Поллак на Галерной на представлении Общедоступного и Передвижного театра пьес Рабиндраната Тагора “Письмо царя” и кн. М. Волконского “Освобождение”, читают стихи на вечере “сказки и былины” актрисы и исполнительницы русских народных сказок В. Уструговой и в “вечере-беседе” о войне, устроенном обществом “Соборная Россия” в зале городского попечительства о бедных г. Петрограда в Геслеровском переулке, где председатель совета общества А. Васильев выступает с патетической речью:

“Вселенная и есть мировой порядок — великая тайна Божия... Глубочайшее в этой тайне миростроительства таинство — это всеобщее жертвоприношение: принесение всеми стихиями и существами мира себя в жертву, плодом которой является новая, более совершенная ступень мировой жизни. Война — неизбежное и законное явление предустановленного Творцом порядка мировой жизни... Нынешняя война — великое для России счастье: она уже отрезвила и обновила народ, восстанавливает внутреннее в нём единство и выявляет таившуюся внутреннюю силу, красоту и доблесть. Образчик этой духовной мощи и красоты будет представлен в произведениях приглашённых в собрание деревенских стихотворцев и в пении и сказах баяна-гуслира...”

И Клюев, и Есенин читали о “великом счастье”, постигшем Россию.

*В этот год за святыми обедами  
Строже лики и свечи чадней,  
И выходят на паперть последними  
Детвора да гурьба матерей.*

*На завалинах рать сарафанная,  
Что ни баба, то горе-вдова;  
Вечерами же мглица багряная  
Поминальные шепчет слова.*

Это — Клюев. А Есенин читал свою чистую и печальную “Русь”:

*Понакаркали чёрные вороны  
Грозным бедам широкий простор.  
Крутит вихорь леса во все стороны,  
Машет саваном пена с озёр.*

.....  
*Повестили под конами сотские  
Ополченцам идти на войну.  
Загыгыкали бабы слободские,  
Плач прорезал кругом тишину.*

\* \* \*

“Счастья” тогда было в России, действительно, хоть залейся.

Кадровая армия была практически выбита к весне 1915 года. Пополнение шло из льготников и даже частично белобилетников, никогда в армии не служивших и не умевших обращаться с оружием. Дезертирство принимало массовый характер, и уже после революции вылавливались дезертиры *Первой мировой войны*, чтобы поставить их под ружьё. Отсутствие винтовок, патронов, снарядов превращало военные действия в сущий кошмар, когда в состоянии оцепенения солдаты прислушивались к вою немецких орудий и видели массовую гибель товарищей — а ответить было нечем... Именно на фронтах *Первой мировой*, где впервые в истории смерть приходила от невидимого противника, сбрасывавшего бомбы в воздуха и пускавшего облака ядовитого газа, народ стал терять веру в Бога.

Героизм отдельных частей сплошь и рядом обесценивался стратегическими просчётами и провалами. То, что творилось в тылу, напоминало пир по время апокалипсиса. Частные военные заводы взвинчивали цены на продукцию в полтора-два раза выше казённых. Предприниматели качали дикие субсидии из казны, по ходу дела проплачивая либералов из Государствен-

ной думы, прикрывавших их делишки. “Фонды помощи” раненым, беженцам и вдовам присваивали себе колоссальные суммы. Стратегическое сырьё и военное имущество наряду с зерном и продовольствием продавались противнику через нейтральные государства... При этом в деревнях была введена продразвёрстка, что, понятно, отнюдь не улучшало отношение народа, и так измученного войной за непонятные ему цели, против правящего режима. И, как всегда бывает в подобных ситуациях, махровым цветом цвела шпиономания. А параллельно со всем этим, как потом вспоминал А. Ф. Керенский...

“В 1915 г., выступая на тайном собрании представителей либерального и умеренного меньшинства в Думе и Государственном Совете, обсуждавшем политику, проводимую царём, в высшей степени консервативный либерал В. А. Маклаков сказал, что предотвратить катастрофу и спасти Россию можно, лишь повторив события 11 марта 1801 г.”.

То есть убийство Павла I.

То же самое предлагал и генерал Крымов.

В это время одна из верных конфиденток Григория Распутина записывает тяжкие и мудрые слова “старца”:

“Страна наша богатая, край сытый – ешь, пей, наслаждайся! И так жил русский народ. И, ох, как жил. Русский боярин, генерал, богатеи, купцы в скверности большой пребывают. Теснят бедноту, последнюю рубашку с нищего драли, лжой его обирали. Бедняков друг на дружку натравливают. Тако беззаконие творят. И вот дела их. Перепортив дома чистых отроковиц, опоганив чужих жён, что эти охальники делают? Они уезжают в чужие земли к иноверцам. Там наворованную казну вытряхивают и в пьянстве озорном своё отечество предают. Вот что делают князья и вельможи наши. И купцы бахвальники и генералы спесивые. А священнослужители? Ои останавливали ли их, забывших честь и Бога? Они, не убоявшись сильных и могучих, говорили ли им: куда идёте, безумцы? Зачем тешите дьявола, уготавливая себе ад кромешный. За что обижаете младшую братию – народ, который на вас, окаянных, денно и ночью работает? Пошто творите беззаконие сие? Нет, они молчали. Нет, они жадно выманывали у них подачки, жирели от кусков со стола злодеев! Отращивали себе животы семипудовые. Говорили богатеям: грешите, сквернословьте, обирайте. Только не забывайте нас, и мы у Бога вымолим вам прощение. Жертвуйте на церковь, и простится вам...”

Кто хуже мужика живёт? И сам голодный, и скотина. И что же вышло? Возненавидел народ начальство. Нет у него веры и в священство. Пока молчит эта ненависть – бороться с ней можно. А как заговорит она – горе великое будет! О, если заговорит злоба народная – будет сотрясение страшное, камни запрыгают...

В Думе кто орудует? Помещик, генерал пыжистый, жида-хриstopродавцы. Неужто им наше русское житьё интересно? Сколько лет эта Дума нам головы морочит, а что она хорошего для народа удумала, кому от неё улучшение вышло? Да – никому. Соберутся да грызутся. Да ещё величаются: я, де, за народ стою, я ему лучшую жизнь пробиваю. А сам так и стреляет, где бы ему лишний кусок оттяпать, от сытого житья отчего же не повилить хвостом, не поговорить, не погорячиться. Оно даже для приятства идёт, в теплоте погреться...

Говорю Вам – земля Русская в большом шатании. Как буря рвёт листья, ломает ветви, дубы, рвёт корни... и тут сломаёт, вырвет столетнего богатыря с корнями, вырвет, изломаёт... Буря всё может!..

И надо быть мудрому рулевому, чтобы ладью к берегу вывести. Чтобы не швырнуло её на дно морское. А где он, мудрый рулевой? Где?..

Порох в чьих руках? Кто им распоряжается? Не тот, кто гаркнет “пали”, а тот, кто палит... Счастье ещё, что он не знает, что в нём сила, что он хозяин пороху. А что как узнает?.. Не хватит воды ни в морях, ни в океанах огонь тот потушить, страшный огонь, великий огонь! У голодного и обиженного глаза лучше видят, ум острее, скоро поймут.

А когда поймут – будет нам горе великое... Это я говорю – Григорий, и Григорий говорит, если господу Богу будет угодно голову снять, чтобы двери в рай открыты всему народу – то да будет воля твоя. ++

Но раньше, чем уйти из жизни, пройду по земле грозою, чтобы очистить путь и убрать мусор с дороги и смыть кровь. Много грехов творят люди, потонули в грехе. Должно случиться чудо великое, пойдут жертвы очиститель-

ные. Будут потрясения великие. И дети малые узнают, в чём сила народа, в чём его правда. Сие да будет! Аминь. +

Сии записи, пока я живой, ни один живой человек не увидит. Убьют Григория, похоронят Григория. А может, и не похоронят. В воде утопят, в огне согнут, а я жив буду”.

Эти записи датируются 20 сентября 1916 года.

Зреет совершенно определённый план – ради спасения монархии заключить сепаратный мир с немцами, что совершенно не отвечает интересам “союзников”, прежде всего – англичан. Именно под их давлением был снят со своего поста премьер-министр Штюермер, сторонник мира, и назначен Трепов, противник “германской клики”. Николай II поддаётся нажиму “союзников” – да чему же удивляться, если сам Распутин говорил о нём: “Папа... что ж. В нём ни страшного, ни злобного, ни доброты, ни ума, всего понемногу. Сними с него корону, пусти в кучу – в десятке не отличишь. Ни худости, ни доброты – всего в меру. А мера куцая, для царя маловата. Он от неё царской гордости набирается, а толку мало. Не по сеньке шапка...”

Об Александре Фёдоровне – иные слова: “Никакой в ней фальши, никакой лжи, никакого обмана. Гордость – большая. Такая гордая, такая могучая. Ежели в кого поверит, то ж навсегда... Многие понятия о ней не имеют. Думают, либо сумасшедшая, либо двусмыслие в ней какое. А в ней особенная душа. Нет, в её святой гордости, никуда, кроме мученичества, пути нет”.

Рождается новый план. Организация “хлебных бунтов” с их последующим подавлением, роспуском Думы, введением чрезвычайного положения – и сепаратным миром. Через бунт, через кровь, но – мир с последующим замирением “общественности” и приведением в “надлежащий вид” потенциальных заговорщиков из царского дома и генералитета. Здесь – безусловная солидарность императрицы с Распутиным – с опорой на начальника Петроградского военного округа, начальника Петроградского охранного отделения, коменданта Петропавловской крепости, директора департамента полиции... Для заговорщиков же, находящихся в прямой связи с английской разведкой, главная опасность – Распутин. Дни его сочтены. И сам он об этом знает. Чувствует в последние дни, что не придётся ему пройти по земле грозою...

Роковой знак – жестокая ссора между Александрой Фёдоровной и её сестрой, Великой Княгиней Елизаветой, для которой Григорий был предметом неугасающей ненависти. Последняя фраза уходящей Елизаветы: “Помни о судьбе Людовика и Марии Антуанетты!”

И – убийство Распутина... Подлинная картина этого кровопролития не восстановлена по сей день.

Клюев... Никаких существенных деталей происходящего он знать не мог. Но – Распутин был для него спасителем монархии Романовых, которая сама по себе была для Николая врагом русского народа, похитителем его духа и веры. И Григорий был живым олицетворением этой вражеской силы.

*Господи, опять звонят,  
Вколачивают гвозди голгофские  
И, тобою попраный, починяют ад  
Сытые кутейные московские!*

*О душа, невидимкой прикинись,  
Притаись в ожирелых свечах  
И увидишь, как Распутин на антиминсе  
Пляшет в жгучих, похотливых сапогах.*

Для него стёрлась (как и для многих) всякая разница между Распутиным-человеком и Распутиным-образом сплетен и газетных хроник. Тем легче было поставить своё несмываемое клеймо.

*Что, как куца, веред-стол уютен,  
Гнойный чайник, человеческий лай,  
И в церквах обугленный Распутин  
Продаёт сусальный, тусклый рай.*

А в это время выступления Есенина и Клюева встречали в отечественной прессе весьма “тёплый” приём.

“Городецкий ушёл, но его поэты – Клюев и Есенин – кажется, ещё обвевают крылами своей “избяной” поэзии новое общество...

Их искание выразилось, главным образом, в искании... бархата на кафтан, плису на шаровары, сапогов бутылками, фабричных, модных, форсис-тых, помады головной и чуть ли не губной...

Вообще, всего того, без чего, по понятию и этих “народных” поэтов, немислим наш “избяной” мужик.

Поиски в области версификации тоже сводятся к рафранчиванию и припомаживанию самими ими изобретённых квазинародных слов, вроде “избяной”, “подмикитошный”, “вопо” и тому подобной “заумности”.

“А поэты-новонародники” гг. Клюев и Есенин производят попросту комическое впечатление в своих театральных поддёвках и шароварах, в цветных сапогах, со своими версификаторскими вывертами, оснащёнными какими-то якобы народными, непонятными словечками. Вся эта нарочитая разряженность не имеет ничего общего с подлинной народностью, всегда подкупающей искренней простотой чувства и ясностью образов”.

“Оба, в особенности Есенин, не чужды поэтических настроений, оба воспринимая красоту мира, но оба плывут в мутной струе отравляющего наши грозные дни шовинизма и оба до мозга костей пропитались невыносимым националистическим ухарством. Трудно поверить, что это русские, до такой степени стараются они сохранить “стиль рюсс”, показать “национальное лицо”. Таких мужичков у нас не бывало с... давних пор...”

На этом фоне особо выделился отзыв Александра Тинякова в газете “Земщина”. Статья называлась “Русские таланты и жидовские восторги”.

“Истинной красоты, истинного величия и настоящей глубины евреи самостоятельно заметить и оценить не могут. Даже и тогда, когда кто-нибудь на толкнёт их на “истинное”, – и то они разобратся толком в глубоком явлении не умеют, а главным образом “галдят” около значительного имени. “Галдежом” своим, даже и сочувственным, они приносят в конце концов вред, потому что мешают вникнуть в истинный смысл того явления, о котором галдят... потому что среди талантливых русских людей очень много людей, по характеру своему мелких и слабых. Пойдя на удочку еврейской похвалы, эти маленькие таланты гибнут, не принося и половины той пользы родине, которую могли бы принести...”

Приехал в прошлом году из Рязанской губернии в Питер паренёк – Сергей Есенин.

Писал он стишки, среднего достоинства, но с огоньком, и – по всей вероятности – из него мог бы выработаться порядочный и полезный человек. Но сейчас же его облепили “литераторы с прожидью”, нарядили в длинную, якобы “русскую”, рубаху, обули в “сафьяновые сапожки” и начали таскать с эстрады на эстраду. И вот, позоря имя и достоинство русского мужика, пошёл наш Есенин на потеху жидам и ожидаемой, развращенной и разжиревшей интеллигенции нашей... Со стороны глядеть на эту “потеху” не очень весело, потому что сделал Есенин из дара своего, Богом ему данного, употребление глупое и подверг себя опасности несомненной. Жидам от него, конечно, проку будет мало: позабавятся они им сезон, много – два, а потом отыщут ещё какую-нибудь “умную русскую голову”, чтобы и в ней помутился рассудок...

Хотелось бы всем этим юношам, падким на похвалу иудейскую, сказать, как друзьям и согражданам своим:

“Не верьте вы, братцы, жидовской ласке и не гонитесь за дешёвой газетной славой. Не на то вам дал Господь зоркие очи и чуткое сердце, меткую речь и певучую песню, чтобы вы несли их на потеху и усладу жидам. Давши вам дары, Господь возложил на вас тем труд и призвал вас к деланию доброду...”

От вас, “Есенины”, требуется большее. И чтобы сделать это большее, надо не по эстрадам таскаться, а в тишине и близости к родному народу работать над развитием и раскрытием данных вам духовных сил.

Не тратить своих дарований зря, не менять их на “сафьяновые сапожки”, не продавать их за “хлопки” безмозглых “курсих”, но хранить в себе до поры,

как святыню, чтобы в должный час отдать их родному народу, чтобы выразить в песне и слове не свой личный “стихотворческий” зуд, а чтоб выразить душу народную, чтобы спеть и сказать о народе и для народа некую суровую и любовную правду, в которой кипели б солёные мужице слёзы и билось бы сердце крестьянское, любовью богатое, правдою — светлое, верою крепкое..”

Следует отметить, что к этим замечаниям Тинякова сочувственно отнёсся Блок, написавший Тинякову после другой тиняковской публикации в “Земщине” (“Письма в редакцию”, где были строки: “Посольку иудаизм является выражением семитического духа и поскольку христианство является преодолением и отрицанием иудаизма, — постольку я и до сих пор являюсь антисемитом, и впредь таковым и останусь и от Иисуса Христа не отрекусь..”) следующее письмо: “Мы с Вами почти одинаково думаем о евреях. Я не раз высказывал и устно и письменно (хотя и не печатно) — евреям и неевреям — мысли, сходные с Вашими; иногда и страдал от этого, то далеко не так, как Вы..” У Блока (да и не только у него) были чрезвычайно свежи в памяти дикие кампании, устраиваемые “прогрессивной интеллигенцией”, по исключению Василия Розанова из Религиозно-философского общества за статьи “Иудейская тайнопись”, “Андрюша Ющинский”, “Наша кошерная печать” и другие схожие выступления; дикий гвалт, поднятый по поводу Эмилия Метнера, его книги “Модернизм и музыка”, где тот писал: “Я не знаю, куда бы пришёл музыкальный иудаизм, если бы он нормально развивался на родной почве. Но что созданная преимущественно его силами современная эстрада пагубно влияет на музыкальную жизнь, — это несомненно.. Необходимо освежить состав сословия музыкантов притоком новых членов, которые принадлежат к этнографическому ядру нации”; скандал, устроенный Андрею Белому за статью “Штемпелёванная калоша”, опубликованную в “Весакх”, где говорилось со всей откровенностью:

“Главарями национальной культуры оказываются чуждые этой культуре люди.. Чистые струи родного языка засоряются своего рода безличным эсперанто из международных словечек.. Вместо Гоголя объявляется Шолом Аш, провозглашается смерть быту, учреждается международный жаргон.. Вы посмотрите на списки сотрудников газет и журналов в России: кто музыкальные и литературные критики этих журналов? — Вы увидите сплошь и рядом имена евреев, пишущих на жаргоне эсперанто и терроризирующих всякую попытку углубить и обогатить русский язык.. Рать критиков и предпринимателей в значительной степени пополняется однородным элементом, вернее, одной нацией, в устах интернационалистов всё чаще слышится привкус замаскированной проповеди самого узкого и арийству чуждого национализма: иудаизма.. Все крупные литературно-коммерческие предприятия России (хорошо поставленные и снабжённые каталогом) или принадлежат евреям, или ими дирижируются; вырастает экономическая зависимость писателя от издателя, и вот — морально покупается за писателем писатель, за критиком критик.. И эта зависимость писателя от еврейской или юдаизированной критики строго замалчивается: еврей-издатель, с одной стороны, грозит голодом писателю; с другой стороны — еврейский критик грозит опозорить того, кто поднимет голос в защиту права русской литературы быть русской и только русской..”

...Клюев, естественно, не мог быть согласен с основным в своей крайней несправедливости посылом Тинякова — что, дескать, именно “литераторы с прожидью” облачили Есенина “в “русскую” рубаху и “сафьяновые сапожки”.. В то же время он прекрасно отдавал себе отчёт в том, что печатается он со своим другом именно у издателей-евреев — идёт ли речь о “Биржевых ведомостях” или о “Северных записках”, издательница которых Софья Чацкина истерически вопила, узнав о чтении стихов Есениным перед императрицей: “Отгорели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов!” Не исключена и резкая реакция Есенина на статью Тинякова — дескать, перед кем, в самом деле, бисер мечем — что тут же разошлось по писательским домам, и началось нашёптывание: “антисемит”.. Так что ничего удивительного, что в стихотворении, посвящённом “отроку вербному”, Клюев дал свою оценку змеиному шёпоту:

*Он поведал про сумерки карие,  
Про стога, про отжиночный сноп;*

*Зашипели газеты: “Татария!  
И Есенин — поэт-юдофоб!”*

*О бездушное книжное мелево,  
Ворон ты, я же тундровый гусь!  
Осеньет Словесное дерево  
Избяную дремучую Русь!*

А далее — далее следует строфа, во многом ключевая для революционно-го — в духе и в жизни — Клюева.

*Певчим цветом алмазно заиндевел  
Надо мной древословный навес,  
И страна моя, Белая Индия,  
Преисполнена тайн и чудес!*

Белая Индия... Это — основополагающий образ клюевской поэзии, впервые возникший у него в предреволюционном 1916 году. Возникший не случайно. И в своём повороте на Восток Николай был не одинок.

*(Продолжение следует)*